**Сюжет пришествия Бога в мир в поэзии С.Есенина**

Религиозное миропонимание пронизывает образный строй поэзии Есенина, в особенности периода 1910-х гг., и определяет существенные стороны умонастроения лирического героя, восприятия им исторического времени и вечности. Оригинальное развитие получает здесь сквозной, прорисованный в различных вариациях *сюжет пришествия Бога в мир*. Этот воплощенный в художественной форме смысловой комплекс насыщен прозрениями о глубокой сопряженности земного мира с Божественным замыслом о нем и восходит к Священному Писанию, вступая при этом в сложные опосредования с фольклорной традицией, культурфилософскими и эсхатологическими интуициями рубежа веков.

В трактате «Ключи Марии» (1918) поэт размышлял о значительном для современного эстетического сознания перевороте в космологическом и религиозном мироощущении, когда водоразделы между небесным и земным измерениями утрачивают прежнюю отчетливость: «Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в брак с опрокинутостью неба» [V, 203][[1]](#endnote-2). В статье «Отчее слово» (1918) примечательны в этой связи суждения о ценности мистического опыта А.Белого, особенно ярко выразившего влечение творческого духа к надмирному бытию: «Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров, где “у златой околицы // Доит Богородица // Белых коз…” Но к крыльцу этого крова мы с земли, живя и волнуясь зрением и памятью в вещах, приближаемся только через “андреебеловское” “выкусывание за спиной”» [V, 181].

В поэзии Есенина изображение перипетий непосредственного вхождения Бога в земной мир, Его проникновения в ткань повседневного бытия становится явным начиная со стихотворений 1914 г. и зачастую выражается в *«новеллистической» жанровой форме*. Одна из ранних иллюстраций развития данного лейтмотива – стихотворение «Шел Господь пытать людей в любови…» (1914). Средствами сюжетной, персонажной лирики здесь запечатлевается психологическая зарисовка того, как Бог принимает образ нищего, погружается в гущу человеческих страданий, тая при этом горькое убеждение в нравственной непросветленности и нечуткости человеческой природы: «Подошел Господь, скрывая скорбь и муку: // Видно, мол, сердца их не разбудишь…» [I, 42]. Однако кульминационная в развитии лирического сюжета встреча с нищим стариком («И сказал старик, протягивая руку: // “На, пожуй, маленько крепче будешь”») оказывается для Творца неожиданным откровением. Подобная «еретическая» с вероучительной точки зрения поэтическая интуиция о возможном для Бога временном неведении о тайнах человеческого сердца предопределяет у Есенина особое направление размышлений о соотношении Высшего Промысла и человеческой воли, которое впоследствии, в частности в поэме «Инония» (1918), приведет к попыткам «адаптации» Божественной реальности к земному разумению, к конструированию «новой» веры и «нового» Бога.

Герой ранней лирики Есенина нередко предстает как *тайновидец* и *богоискатель*, что находит выражение в пейзажной образности, являющей «обытовление Космоса», «омирщение астрального универсума»[[2]](#endnote-3), своеобразную «внехрамовую литургию Земли»[[3]](#endnote-4). В стихотворении «Не ветры осыпают пущи…» (1914) космизм пейзажной перспективы соответствует широте поэтического зрения, охватывающего диапазон от горних высот до мрака земной нищеты. Вглядываясь в «голубизну незримой кущи», герой прозревает нисхождение на землю «возлюбленной Мати с пречистым Сыном на руках», грядущее повторение евангельских событий, *новое явление миру странствующего, страдающего и воскресающего Бога*:

 Она несет для мира снова

 Распять воскресшего Христа:

 «Ходи, мой Сын, живи без крова,

 Зорюй и полднюй у куста» [I, 44].

Причастность к этому *мессианскому странничеству* ощущает и сам есенинский герой, порывающийся «в каждом страннике убогом», в скудной земной природе «вызнавать» черты Божественного присутствия: «И может быть, пройду я мимо // И не замечу в тайный час, // Что в елях – крылья херувима, // А под пеньком – голодный Спас» [I, 45]. У раннего Есенина находит отражение глубоко христианская по существу *идея Божественного самоумаления ради спасения мира*. В стихотворении «Чую радуницу Божью…» (1914) сокровенные воспоминания о «радости детских снов», религиозные интуиции о собственном избранничестве («Голубиный дух от Бога… завладел моей дорогой»), пророчества о новом пришествии Христа – «растворены» в динамике повседневных впечатлений и бытовой разговорной речи: «Между сосен, между елок, // Меж берез кудрявых бус, // Под венком, в кольце иголок, // Мне мерещится Исус» [I, 56]. Сниженно-бытовой и мистический планы бытия парадоксально сопрягаются в стихотворении «Осень» (1914 – 1916), где на едином поэтическом полотне запечатлены осень – «рыжая кобыла» и одушевленный «схимник-ветер», который посредством аскетического подвига поднимается на высоту осмысления того, как краски природного мира воплощают в себе присутствие распятого Христа:

 Схимник-ветер шагом осторожным

 Мнет листву по выступам дорожным

 И целует на рябиновом кусту

 Язвы красные незримому Христу [I, 43].

Распятие Христа, Его искупительный подвиг живо прочувствованы у Есенина в призме натурфилософских образов и провиденциально восприняты в качестве событий, которым на новом историческом этапе суждено возвращение. Пейзажная элегия «Покраснела рябина…» (1916) приобретает религиозное, пророческое звучание. Сопереживание печали «поникшего головой» «родимого края» сменяется обнадеживающим предвестием нового схождения Христа в земную жизнь и историю («Встань, пришло исцеленье, // Навестил тебя Спас»), которое, как свидетельствует бытие природы, может совершиться через повторение Его искупительной жертвы:

 Дня закатного жертва

 Искупила весь грех.

 Новой свежестью ветра

 Пахнет зреющий снег [I, 101].

С годами, по мере погружения в атмосферу революционной смуты, из благоговейного странника-тайновидца есенинский герой все чаще перерождается в бродягу, «хулигана», переживающего мучительную духовную опустошенность. Изначально в воспетом им духовном странничестве выразились «эсхатологизм народной души, алкание последних времен и сроков, грядущего преображения»[[4]](#endnote-5), здесь откристаллизовалась «специфическая национально-русская форма духовного искания… форма духовного посредничества между Богом и миром»[[5]](#endnote-6). Но постепенно подобное скитальчество стало обнаруживать и свою оборотную, в немалой степени деструктивную сторону, связанную с актуализацией авантюрно-игрового, «хулиганского», а в конечном пределе – богоборческого мироощущения, поскольку «религиозное странничество и авантюрное босячество были теми полюсами, между которыми располагался внутренний мир его лирического «я»… Мистика и авантюра были принципиально взаимообратимы»[[6]](#endnote-7).

В стихотворении «Свищет ветер под крутым забором…» (1917) лирическое «я» принимает облик «пьяницы и вора», который, впадая в состояние греха, тем не менее дорожит последним упованием на исцеляющее преображение, на потаенное родство со странствующим по земле Христом: «Он придет бродягой подзаборным, // Нерушимый Спас» [IV, 168]. В то же время подобная надежда подтачивается опасностью духовной ослепленности героя и неузнавания им своего Спасителя:

 Но, быть может, в синих клочьях дыма

 Тайноводных рек

 Я пройду Его с улыбкой пьяной мимо,

 Не узнав вовек [IV, 168].

Лирико-исповедальный путь постижения непосредственного Божественного присутствия на земле уже с первых поэтических опытов сочетался у Есенина с осмыслением данной темы *в сюжетно-повествовательном русле, близком народнопоэтическому эпосу*. Наложение интимно-лирических мотивов на эпический масштаб мировидения способствовало выстраиванию целостной картины бытия и открывало путь к освоению лиро-эпических жанровых форм. В автобиографии 1924 г., делясь детскими воспоминаниями, поэт указал на немалое творческое влияние, которое с ранних лет оказывали на него фольклорные духовные стихи: «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого» [VII (кн.1), 14]. Хотя в том же году он настаивал, чтобы читатели «относились ко всем моим Исусам, Божьим Матерям и Миколам, как сказочному в поэзии» [V, 223], поскольку теперь эти имена не пробуждают в нем живого религиозного чувства, но выступают исключительно в роли культурных мифов.

Мотив чудесного прихода Бога и Его святых в земной мир являлся сквозным в фольклорных духовных стихах и имел здесь богатую вариативность. Это и сошествие Христа и Богородицы ради утешения скорбящих, воодушевления подвижников благочестия («Стих о вдовах», «Встреча инока со Христом»[[7]](#endnote-8)), дарования победы православному воинству («Димитрий Донской», «Покров»); это и явления святителя Николая («О Миколе Угоднике»), и, наконец, картины Второго Пришествия и Страшного Суда («Надо покаяться и очиститься», «О нынешнем веке и будущем», «О Страшном суде»). У Есенина один из ранних примеров творческой обработки данного сюжетного ряда возникает в стихотворении «Микола» (1913 – 1914), где центральный персонаж выступает не только странником, но и Божественным посланником, воплощающим опыт живого богообщения: «И с земли гуторит с Богом // В белой туче-бороде» [II, 14]. Посредством этого образа творческое прозрение о неравнодушии неба к земным «черным бедам» приобретало персонифицированный характер и укрепляло лирического героя в его тайновидческих устремлениях: «На престоле светит зорче // В алых ризах кроткий Спас…» [II, 15].

Стилизация под народнопоэтическую образность используется в стихотворениях «Исус-младенец» (1916), «То не тучи бродят за овином…» (1916), «Не от холода рябинушка дрожит…» (1917), где Христос предстает в младенческом и отроческом возрасте. В первом стихотворении размываются грани между храмовым пространством и природным бытием («Собрала Пречистая // Журавлей с синицами // В храме»), между временем и вечностью, а в детской доверчивости и простоте Богомладенца угадывается Его сокровенная привязанность к бытию тварного мира: «На спине катается // У белого аиста // Сыночек…» [IV, 143]. В стихотворении «То не тучи бродят за овином…» переданное в фольклорном духе «сказание» о том, как «замесила Божья Матерь Сыну колоб», оборачивается поэтической космогонией и являет любовь и открытость Божества к человеческому роду, причем черты ограниченного земного естества принимаются на Себя Сыном Божьим как бы в предварение будущей искупительной жертвы: «Покатился колоб за ворота // Рожью. // Замутили слезы душу голубую // Божью» . [I, 113]

Стихотворение «Не от холода рябинушка дрожит…» выражает интуицию о Божественном самоумалении, которая прорастает из недр крестьянского сознания и раскрывается в сновидческом пространстве: «Снятся деду иорданские брега… // Как по мостику, кудряв и желторус, // Бродит отрок, сын Иосифа, Исус» [IV, 161]. В общении юного Иисуса с земным миром на первый план выступает не высокое Божественное покровительство этому миру, но смиренное стремление к его познанию и сочувственному пониманию: «Вы сходитесь ко мне, твари, за корму, // Научите меня разуму-уму» [IV, 161].

Все более разноплановая эпическая разработка сюжета о пришествии Бога в посюстороннее бытие закономерным образом сочеталась у Есенина с освоением евангельского текста, с прозрениями и сомнениями о личности Христа. Еще в письме 1912 г. поэт признавался: «В настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового… Христос для меня совершенство. Но я не верую в Него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему» [VI, 25]. Эта преимущественно моралистическая трактовка христианства уже в «Ключах Марии» уступает место образно-мистическому толкованию смысла голгофской жертвы Спасителя: «Фактом восхода на крест Христос окончательно просунулся в пространство от луны до солнца, только через Голгофу Он мог оставить следы на ладонях Елеона (луны), уходя вознесением ко Отцу (то есть солнечному пространству); буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса» [V, 210].

*Вначале в малой лирической, а затем и в поэмной формах евангельские события проецируются Есениным на индивидуальное, социально-историческое и природно-космическое бытие*. В стихотворении «Сохнет стаявшая глина…» (1914) обыденная пейзажная образность обнаруживает в себе вселенский масштаб, природный мир увиден на стыке ветхо- и новозаветной эпох («У лесного аналоя // Воробей псалтырь читает», I, 55) и замирает в ожидании Входа Господня в Иерусалим, которому суждено повториться в новых исторических условиях: «Кто-то в солнечной сермяге // На осленке рыжем едет… // Никнут сосны, никнут ели // И кричат ему: “Осанна!”» . [I, 55]

Мессианские предчувствия, возникающие при созерцании природного бытия, приобретают у Есенина все более персонифицированный характер и связываются с личностными устремлениями его лирического «я». В стихотворении «Тучи с ожереба…» (1916) предвидение «нового Назарета» воплощается в сфере крестьянской, натуралистически выпуклой ассоциативности: «Небо словно вымя, // Звезды как сосцы. // Пухнет Божье имя // В животе овцы» [I, 106]. Зримая для героя актуализация евангельского «измерения» современности влечет его к пророчествам о неотвратимых предательствах и потрясениях:

 Только знаю: будет

 Страшный вопль и крик,

 Отрекутся люди

 Славить новый лик [I, 107].

Стихотворение «О Матерь Божья…» (1917 – 1918) выдвигает героя как ходатая за свой народ перед Божественными силами, а его чаяния нового Рождества, «земного рая» облекаются в форму молитвы о явлении Богомладенца в «мирскую весь», в «мужичьи ясли моей страны»:

 И да взыграет

 В ней, славя день,

 Земного рая

 Святой младень [I, 120].

*В цикле «библейских» поэм 1917 – 1919 гг. сюжет сошествия Бога на землю получает у Есенина наиболее разностороннее художественное воплощение и дает развитие многим его более ранним религиозно-философским интуициям*. Эти тексты могут быть осознаны как «ценный документ русского мессианского сознания и его метаморфоз во время революции»[[8]](#endnote-9), и в то же время здесь «пророчество и мессианство сливались в едином эмоциональном порыве»[[9]](#endnote-10). Если не упускать из виду христологических и «человекобожеских» построений в поэме В.Маяковского «Облако в штанах» (1915), то можно признать, что именно «С.Есенин первым попытался использовать образ Христа для освящения целей и смысла революции, позже это сделают А.Блок («Двенадцать»), А.Белый («Христос воскрес»), П.Орешин («Я, Господи» и «Душа на кресте») и другие поэты»[[10]](#endnote-11).

Еще в октябре 1913 г. поэт наметил трагедийную перспективу своих раздумий о новом явлении Мессии в атмосфере предреволюционной смуты: «Все погрузились в себя, и если бы снова явился Христос, то Он и снова погиб бы, не разбудив эти заснувшие души» [VI, 53]. В поэме «Певущий зов» (1917) откровения о том, что «Земля предстала новой купели», что Рождество Христово, «новый Назарет», Фавор неотделимы от крестьянского космоса («В мужичьих яслях // Родилось пламя»), соединяются с попыткой укротить, «заговорить» все более зримо заявляющий о себе хаос смутного времени: «Она загорелась, // Звезда Востока! // Не погасить ее Ироду // Кровью младенцев…» [II, 27]. Повествовательный план поэмы, передающий взыскание «нового» Предтечи («Уже встал Иоанн, // Изможденный от ран…»), в завершающей части произведения органически перетекает в лирический монолог героя, который в прямом воззвании к соотечественникам делится своими сокровенными мистическими предчувствиями.

В поэме «Октоих» (1917) достигается переплетение молитвенного настроя и натурфилософских интуиций. «Адресатами» молитвенных обращений выступают здесь и Дева Мария («На нивы златые // Пролей волоса»), и Русь, воспринимаемая в качестве включенной в евангельский событийный ряд одушевленной субстанции: «Святись Преполовеньем // И Рождеством святись» [II, 41]. В ритмах природного бытия, которые ассоциируются с течением исторического времени, происходит сложное взаимодействие вдохновенного порыва к Богопознанию («Осанна в вышних! // Холмы поют про рай»; «Овсом мы кормим бурю, // Молитвой поим дол»), и катастрофического предощущения надвигающегося Апокалипсиса:

 Вострубят Божьи клики

 Огнем и бурей труб,

 И облак желтоклыкий

 Прокусит млечный пуп [II, 45].

Таинственное родство страждущего Христа с Русью, которая «из звездного чрева сошла… на твердь» и пребывает «приснодевой, поправшей смерть», устанавливается в поэме «Пришествие» (1917), где «миф о повторном распятии Христа» и в целом «повторение библейской истории» «осмысливаются как очередной акт творения нового лика мира в вечной мистерии бытия»[[11]](#endnote-12). В изображении Есенина явившийся на землю Христос вновь «несет Свой крест», но теперь уже в условиях фатального одиночества («Нет за ним апостолов, // Нет учеников»), которое обнаруживается и в человеческом отступничестве («Нет, я не Симон… // Простой рыбак»), и в гримасах поврежденного грехом природного мира: «Под ивой бьют его вои // И голгофят снега Твои…» [II, 50]. На этом фоне религиозные порывы лирического героя-тайновидца, который молится «из мужичьих мест» о духовном преображении всей земной вещественности («О верю, верю – будет // Телиться Твой восток!»), выражаются в дерзновенном обращении к Богу Отцу с ходатайством за посланного Им на землю Сына («О Саваофе! // Покровом Твоих рек и озер // Прикрой Сына!») и с мольбой о претворении земного в небесное:

 Господи, я верую!..

 Но введи в свой рай

 Дождевыми стрелами

 Мой пронзенный край [II, 46].

Личностная сопричастность героя новому Богоявлению побуждает его увидеть Христа и Его Матерь в крестьянском обличии. В поэме «Преображение» (1917) Богородица выведена в образе крестьянки, которая «скликает в рай телят», сам же лирический герой все более укрепляется в решимости *воздействовать на Божественный Промысел о Руси*. Здесь он не ограничивается молитвой, но *параллельно с приходом Бога в земной мир моделирует сюжет своего собственного явления в мир небесный*:

 Перед воротами в рай

 Я стучусь;

 Звездами спеленай

 Телицу-Русь.

 За тучи тянется моя рука,

 Бурею шумит песнь.

 Небесного молока

 Даждь мне днесь [II, 52].

В то же время, чуждое отвлеченно-бесплотной метафизике, художественное мышление поэта стремится вместить в себя тайны сотворения мира и его преображения посредством явления Мессии. Эти раздумья облекаются в пластичные образы, основанные на *метафорическом овеществлении психологических состояний лирического героя и его современников*:

 Вижу Тебя из окошка,

 Зиждитель щедрый,

 Ризою над землею

 Свесивший небеса.

 <…>

 Зреет час преображенья,

 Он сойдет, наш светлый гость,

 Из распятого терпенья

 Вынуть выржавленный гвоздь [II, 55 – 56].

Мотив распятия приобретает вселенский масштаб в поэме «Сельский часослов» (1918), где голгофские события экстраполируются на современные потрясения как крестьянской России («И лежишь ты, как овца, // Дрыгая ногами в небо»), так и всей Руси – «Начертательницы Третьего Завета». Однако в катастрофической судьбе Руси здесь угадывается перспектива высвобождения ее духовных сил, необходимых для встречи Избавителя – Христа, «новое» Рождество Которого возвещается в поэме:

 Радуйся,

 Земля!

 Деве твоей Руси

 Новое возвестил я

 Рождение.

 Сына тебе

 Родит она… [IV, 176].

Все более явное образное выражение в «библейских» поэмах Есенина находит *пассионарный настрой лирического «я», который уже не просто ожидает духовного переворота в современности, но и примеривает на себя мессианские черты*. В поэме «Отчарь» (1917) композиционный центр образует лирический монолог героя, где он распознает письмена евангельского «текста» в природном космосе («И рыжий Иуда // Целует Христа») и апеллирует ко всей «буйственной Руси», к «обновленному мужику» – «чудотворцу широкоскулому и красноротому» [II, 35, 37].

Примечательными иллюстрациями подобных «человекобожеских» интенций стали поэмы «Товарищ» (1917) и «Инония» (1918). В первой из них выведена объективированная фигура Мартина – «сына простого рабочего», который после потери отца, учившего его «распевать марсельезу», адресует свое «товарищеское» обращение ко Христу как единственному близкому существу. Вняв молитве героя, «сошел Исус на землю // С неколебимых рук», самозабвенно погрузился в гражданские бури, но вскоре «пал, сраженный пулей, // Младенец Иисус» [II, 33]. Образ гибнущего в исторических потрясениях Бога окрашивает картину в апокалиптические тона и выдвигает на первый план сверхчеловеческие устремления. В логике сюжетного хода поэмы оказывается, что сошествие Бога на землю не смогло гармонизировать мироздание, и, следовательно, решающая ставка должна быть сделана теперь на человеческую волю:

 Слушайте:

 Больше нет воскресенья!

 Тело Его предали погребенью:

 Он лежит

 На Марсовом

 Поле.

 <…>

 Но спокойно звенит

 За окном,

 То погаснув, то вспыхнув

 Снова,

 Железное

 Слово:

 «Рре-эс-пу-у-ублика!» [II, 34].

В поэме «Инония» (1918) герой «вживается» в образ библейского пророка Иеремии («Так говорит по Библии // Пророк Есенин Сергей»), бунтарски реализуя свое самозванное пророчество в явном кощунстве: «Тело, Христово тело // Выплевываю изо рта» [II, 61]. В беседе с А.Блоком сам автор так прокомментировал эти строки: «Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)»[[12]](#endnote-13). Отвержение крестных страданий и искупительного подвига Христа звучит и в самой поэме: «Не хочу восприять спасения // Через муки Его и крест…» [II, 61]. Разделяя массовые утопические идеи о возможности сращения христианского и революционного мировоззрений, поэт от прежнего богоискательства приходит к потребности «переделать» самого Творца («Я иным Тебя, Господи, сделаю, // Чтобы зрел мой словесный луг»), «иное узреть пришествие» («Новый на кобыле // Едет к миру Спас»), «вздыбить» небо и землю «верой и мощью» человеческого, земного лидерства, мнящего себя в состоянии сотворить «нового Бога»:

 Кто-то с новой верой,

 Без креста и мук,

 Натянул на небе

 Радугу, как лук [II, 68].

В послереволюционной поэзии Есенина богоискательские мотивы уходят в подтекст, хотя напряженные поиски «героя» революционного времени[[13]](#endnote-14) приобретали в том числе религиозный смысл и были продиктованы подспудным ожиданием явления Мессии в истории. Так, в драматической поэме «Пугачев» (1921) центральный герой, странник, «разгадавший… свое значенье» [III, 21], сознательно постулирует необходимость жертвенного самоотречения путем тягостного приятия на себя ненавистного имени императора Петра III ради всеобщего спасения: «Больно, больно мне быть Петром, // Когда кровь и душа Емельянова. // Человек в этом мире не бревенчатый дом, // Не всегда перестроишь наново…» [III, 28]. А в поэме «Ленин» (1924) образ вождя революции имеет отчетливо выраженные мессианские черты:

 Народ стонал, и в эту жуть

 Страна ждала кого-нибудь…

 И он пришел…

 Он мощным словом

 Повел нас всех к истокам новым… [II, 187].

Итак, сюжет пришествия Бога в земной мир, интуиции о Его участии в человеческой истории составляют один из смысловых центров поэзии Есенина. Нельзя согласиться с расхожим и категоричным мнением о том, что «религиозность Есенина превращалась в литературщину, в нагромождение и смешение образов библейских, церковных и бытовых»[[14]](#endnote-15). Религиозные искания поэта, приобретавшие со временем целенаправленно «еретическое» и богоборческое звучание, наглядно отражали ключевые стороны индивидуального и общественного сознания лирического «я», его мистического опыта, особенности восприятия им природного космоса, крестьянской культуры, истории и современности. Важнейшим для поэтического мира Есенина стало движение к художественному постижению сферы глубинных «соответствий» между Божественной реальностью, событиями Библейской истории – и явлениями текущей действительности.

1. Примечания

 Ссылки на произведения С.Есенина с указанием тома и страницы приведены по изд.: *Есенин С.А.* Полное собрание сочинений: В 7 т. / Гл. ред. Ю.Л.Прокушев; ИМЛИ им. А.М.Горького РАН. М., Наука; Голос, 1995 – 2002. [↑](#endnote-ref-2)
2. *Лейдерман Н.Л.* Сергей Есенин: метаморфозы художественного сознания: монографический очерк. Екатеринбург, 2007. С.15, 16. [↑](#endnote-ref-3)
3. *Семенова С.Г.* Стихии русской души в поэзии Есенина // Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920 – 1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия. М., ИМЛИ РАН, 2001. С.106. [↑](#endnote-ref-4)
4. *Семенова С.Г.* Указ. соч. С.104. [↑](#endnote-ref-5)
5. *Воронова О.Е.* Между религией и «Русской идеей»: С.А.Есенин и Н.А.Бердяев // Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. Есенинский сборник. Вып. III. М., 1997. С.85. [↑](#endnote-ref-6)
6. *Мусатов В.В.* Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века. М., 1998. С.90. [↑](#endnote-ref-7)
7. Стихи духовные / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф.М.Селиванова. М., 1991. [↑](#endnote-ref-8)
8. *Семенова С.Г.* Указ. соч. С.110. [↑](#endnote-ref-9)
9. *Мусатов В.В.* Указ. соч. С.92. [↑](#endnote-ref-10)
10. *Карпов А.С.* Избранные труды. Русская литература ХХ века. Страницы истории: в 2 т. М., 2004. Т.1. С.167. [↑](#endnote-ref-11)
11. *Серегина С.А.* Андрей Белый и Сергей Есенин: творческий диалог. Автореф. дис… канд. филол. н. М., ИМЛИ РАН, 2009. С.24. [↑](#endnote-ref-12)
12. *Блок А.* Собр. соч. В 8 т. М.-Л., 1963. Т.7. С.313. [↑](#endnote-ref-13)
13. *Ничипоров И.Б.* Поиски «героя времени» на изломе эпох: драматические поэмы С.Есенина «Пугачев» и «Страна негодяев» // Русский человек на изломе эпох в отечественной литературе: сб. статей по Материалам Международного образовательного форума. Киров, ВятГУ, 2007. С.81 – 89 (Электронный доступ: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37236.php>). [↑](#endnote-ref-14)
14. *Дунаев М.М.* Православие и русская литература. В 6 частях. Ч.VI. М., 2000. С.67. [↑](#endnote-ref-15)